

ВСЕ ЗАГАДКИ ЛЮБВИ

МЕСТЬ

МАРИНА И ЮРОЧКА

*Как живется вам с другою,
Проще ведь? — Удар весла!
Линией береговую
Скоро ль память отошла
Обо мне, плывучем острове...*

Я вспоминал эти строки Марины Цветаевой в тот исчезнувший во времени вечер, когда шел к нему.

В те дни в журнале «Новый мир» была напечатана «Повесть о Сонечке», и телефоны в Москве были буквально раскалены. Интеллигентные люди, которые тогда имели привычку читать «Новый мир», звонили друг другу...

Помню, как я читал повесть — пугающее извращение любви, казавшееся столь странным в семидесятых — в пуританское, «торжественно-глухое» время. И все вспоминал, как в чьих-то мемуарах прочел забавное: Марина (тогда еще для всех — Марина, ей шестнадцать) лежит в Коктебеле на раскаленном пляже. Там часто находили сердолики с тайным розово-голубым огнем...

И Марина кокетливо говорит поэту Волошину:

— Я полюблю того, кто принесет мне самый прекрасный камень.

— О нет, все будет иначе, девочка, — печально отвечает Волошин. — Ты сначала его полюбишь, потом он

принесет тебе бульжник, вложит в руку, и ты скажешь: «Какой прекрасный камень!»

Это и стало странным эпиграфом к жизни Марины.

Ее любовь пугала. Мужчины боятся чрезмерности любви.

Она заблудилась в нашем опасном и скучном столетии.

В «Повести о Сонечке» есть очаровательная фраза — как хорошо было жить в XVIII веке, когда женщины думали не об идеях — о поцелуях. И восхитительное описание плача женщины, плача — священного обряда: глаза-виноградины, блестят слезами, они излучают такой жар, что слезы эти не успевают вылиться из глаз. Сила страсти столь пламенна, что слезы иссыхают уже там — в глазах-виноградинах... И, исчерпав все возможности описать этот плач, Марина заключает: она плакала по-моцартовски.

Божественность Плача Женщины... Божественность Женщины... «Повесть о Сонечке» — мечта о Галантном веке:

*Плац Казановы, плац Лозэна,
Антуанетты домино...*

Но все телефонные звонки, которыми обменивались в тот баснословный вечер, были связаны, увы, не с великолепием самой повести.

В повести была заключена сенсация. Я даже сказал бы — скандал. Дело в том, что персонажи, описанные Мариной, существовали в действительности.

Сюжет повести: любовь героини к некоему Юрочке, актеру и режиссеру. Любовь безумная — любовь из стихов Марины.

Героиней повести была Сонечка Голлидэй, маленькая актриса Вахтанговской студии. Она давно умерла, канула в Лету, но осталась навсегда в Маринином повествовании — неземная принцесса, описанная со страстью — почти подозрительной страстью...

Что же касается Юрочки — предмета Сонечкиной любви, — тут сарказм и ярость. И тоже — подозрительные...

Красавец Юрочка. Марина пишет об этом «ангельском подобии», о его росте — «нечеловеческом», о бесконечном торсе, увенчанном божественной античной головой... О фантастическом хороводе женщин вокруг их бога Юрочки... Как все они (вместе с Сонечкой) стремятся проникнуть в его сердце... Тщетно!

— Юрочка у нас никого не любит, — говорит его старая нянечка. — Отродясь никого не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки...

(— И себя в зеркале, — зло добавляет Марина.)

— Прохладный он у нас, — ласково говорит нянечка. Этот «прохладный Юрочка» в семидесятых годах продолжал жить! Более того, его имя было известно всей Москве и всей стране. Сколько театральных легенд было вокруг этого имени!

Во всех книгах по истории театра вы прочтете, как блистательно он играл графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». А какой он был Калаф в легендарной «Турандот»! Как неправдоподобно хорош!

Но все это прошло. Давным-давно прошло... А тогда, в семидесятых, Юрочка был величественным патриархом, Главным режиссером театра имени Моссовета, лауреатом всех возможных и невозможных премий, Героем Социалистического Труда и прочее, и прочее...

Юрий Александрович Завадский.

В те дни в его театре репетировалась моя пьеса. И вот поздним вечером я шел к нему поговорить об этой пьесе.

На самом деле я шел к нему с понятным садизмом — посмотреть, как чувствует себя старый баловень судьбы, которому внезапно дала пощечину истлевшая женская рука.

Я пришел в тот поздний час, когда все нормальные люди спят, но «люди этого круга» только начинают жить. Он сам открыл мне дверь — очередная старая нянечка спала. Как он был хорош в проеме двери — все то же «ангельское

подобие!» И хотя он был уже совсем стариком, у него была абсолютно молодая, даже какая-то детская кожа. И величественная, совершенно голая голова римского сенатора...

Он провел меня в комнату. Мы сели, и я сразу увидел на столе «Новый мир». Он оценил мой взгляд, после чего спросил что-то о пьесе. Я начал отвечать, но уже через три минуты понял: ему скучно.

Все это время мы оба не отрывали взгляда от журнала. И вдруг он спросил:

— Вы давно читали «Евгения Онегина»?

Я был горд ответить: знаю «Онегина» наизусть.

— Ах, — воскликнул он, — какая удача! Вы знаете его наизусть — и я тоже! Мне на днях предложили прочесть его на радио... Хотите, поиграем в небольшую игру? Возьмем нечто малоизвестное из «Евгения Онегина»... ну скажем, путешествие Онегина в Одессу. Вы и его знаете наизусть? Великолепно! Тогда давайте читать на два голоса. Я начну, а вы будете продолжать... А можно и наоборот — вы начинайте.

Я начал:

*Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил...*

— Стоп! — сказал он и продолжил:

*...Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень...*

Потом пришла его очередь начинать. И он начал:

*...А ложа, где, красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...*

Он остановился, а я продолжал:

*...А муж — в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет и — снова захрапит...*

И вот в этом месте — я точно помню — он усмехнулся и спросил:

— Вы любите старые письма?

Я замер.

Он открыл ящик стола и выбросил на стол несколько писем. Потом не глядя взял одно и стал читать.

С первых строчек я понял все. Только одна женщина в России была способна на словоизвержение любви. Точнее — словоизвержение ревности.

Это было ее письмо — Марины!

Он читал, а я слышал (в каждой строчке слышал!) ее стихи, ее «Попытку ревности». Оно обращено к другому человеку, но там то же отчаяние... Те же проклятия... Те же слова:

*Как живется вам с чужою,
Здешнюю? Ребром — любя?
Стыд Зевесовой возжою
Не охлестывает лба?..*

*Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк — крутой?*

*После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой Гипсовой?..*

*...Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый? Тяжче ли?
Так же ли, как мне с другим?*

Как он читал это письмо! Это была сцена: Дон Жуан читает письмо Донны Анны.

И какая у него была печаль... но не печаль от прошедшего, не печаль воспоминаний, нет, совсем иная — печаль невозможности. Он опять видел ее, видел ее волосы 1919 года, видел ее рот, видел ее всю и знал — этого никогда не будет!.. Та юная плоть, изнемогавшая от страсти к нему, та Великая Любовь — все исчезло!

Что осталось? Тишина? «Грусть без объяснения и предела»?

Он ошибся. Остался журналчик на столе. Беспощадная рука Командора, смертельно схватившая Дон Жуана...

Опасен час после полуночи, потому что мысли без помощи слов бродят из головы в голову. И мне показалось, что эта моя смешная мысль заставила его вздрогнуть.

А потом мы снова читали стихи Пушкина, и он вдруг сказал:

— Я очень хотел бы поставить «Горе от ума», но Чацкий слишком уж глуп. Только глупый мужчина может обличать перед любимой женщиной удачливого соперника. Это лучший способ окончательно бросить ее в его объятия. Кстати, это отлично понимали все истинные Дон Жуаны. Когда Дон Жуан решает расстаться с женщиной — знаете, что он делает? Он окружает ее любовью, топит ее в любви, надоедает ей любовью. Он делает это до тех пор, пока не утомит ее окончательно, пока глаза ее не начнут искать другого. И тут он начинает этого другого обличать. Это самый верный способ направить женщину к нему, прочь от себя... Женская вечная тяга к запретному, тяга поступать

наперекор... Смешная ловушка... — Он остановился и добавил: — Но когда она уже с другим — извольте доиграть свою роль до конца! Возмущайтесь, ревнуйте, укоряйте! Но помните: ночными звонками, скандалами вы не сможете ее обидеть — только благородным равнодушием! Равнодушия при расставании она вам не простит! Никогда!

Он бросил письма в ящик стола и закрыл его.

За равнодушие мстят!

Он засмеялся, встал, показывая, что встреча закончена, и проводил меня до дверей. Когда я вышел на лестничную клетку, он вдруг спросил меня:

— Вам не приходило в голову — как Дон Жуан протягивает руку Командору?

И он показал.

Он был великим актером. Я навсегда запомнил бесконечную фигуру в провале двери, свет тусклой лампочки из коридора... Как он тянул в пустоту руку и как менялось его лицо! Сначала на нем было любопытство, потом вызов, а потом страх, слепящий ужас — ужас смерти... Опаленное лицо с мертвыми глазами... И он захлопнул дверь.

Я шел по улице. Горели фонари, падал тихий новогодний снег, и я банально шептал строки:

*Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?*

КОНЕЦ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

*Зина Пряхина из Кокчетава,
словно Муромец, в ГИТИС войдя,
так Некрасова басом читала,
что слетел Станиславский с гвоздя...*

*Зину словом никто не обидел,
но при атомном взрыве строки:
«Назови мне такую обитель...» —
ухватился декан за виски.*

*И пошла она, солнцем палима,
поревела в пельменной в углу,
но от жажды подмостков и грима
ухватилась в Москве за метлу.*

*Стала дворником Пряхина Зина,
лед арбатский долбаёт плеча,
то Радзинского, то Расина
с обреченной надеждой шепча...*

*Зина Пряхина из Кокчетава,
помнишь — в ГИТИСе окна тряслись?
Ты Некрасова не дочитала.
Не стесняйся. Свой голос возвысь.*

*Ты прорвешься на сцену с Арбата
и не с черного хода, а так...
Разве с черного хода когда-то
всем народом вошли мы в рейхстаг?!*

*Евгений Евтушенко
Размышления у черного хода*

Она вошла в ванную.
Съела таблетки перед зеркалом.
Запила водой из-под крана.
Потом вернулась в комнату,
легла на ковер у кровати
и стала ждать.
Это и был — конец стихотворения, Женя.
Три дня и три ночи
ее пытались спасти.
Но она правильно все рассчитала —
она работала медсестрой.
Три пачки димедрола плюс четыре пипольфена,
и девять часов до того,
как пришла с работы подруга...
А потом наступила ночь тринадцатого января,
и люди, которых она в записке
просила «никого не винить в своей смерти»,
сидели за столиками в ресторанах
и сыто и пьяно провожали Старый год,
чтобы потом, во тьме постелей,
прижавшись телами к другим телам,
благополучно доплыть до конца новогодней ночи...
А в это время ее обнаженное тело
лежало в беспощадном свете мертвецкой
и безумный голос ее подруги
орал в замерзшую трубку:
«Как она?»
И мужской голос — сумрачно и сухо:
«Такие данные не сообщаем по телефону».
Действительно!
Зачем тревожить сограждан «такими данными»?
Засекретим смерть,
и пусть у нас всегда торжествует жизнь,
как в конце твоего стихотворения, Женя...

Вчера я встретил ее
в первый раз — после ее смерти.

На дачной эстраде танцевали девочки.
Я узнал ее сразу —
она танцевала последней.
Кровавые пятна носков для аэробики,
ураган волос а-ля Пугачева...
Шаровая молния в конфетной обертке!
Балдели дачные мальчики
с теннисными ракетками, на складных велосипедах.
И голос матери, нарочито громкий:
«Будет артисткой!»
Все это происходило под Москвой,
а совсем не в Кокчетаве,
где еще верят, что «в артистки»
надо ехать в Москву
и завоевать талантом сияющую столицу,
как в конце твоего стихотворения, Женя.
Она поехала...
Вчера я встретил ее на улице.
Она только что приехала в Москву
и шла в ГИТИС,
или в «Щуку», или в «Щепку», или во МХАТ.
И это было нашим вторым свиданием
после ее смерти...
...Ковер, на котором она лежала...
Она вошла во двор
и прочла объявление:
«Абитуриентов прослушивают в тире».
Маленькая головка на теле Венеры,
точены черты Натали Гончаровой
и волосы, перехваченные черной ленточкой...
Пушкинская красавица в хипповой диадеме!
О, как она орала в тире:
«Я — Мэрлин!.. Я — героиня
самоубийства и героина!»
Молодые режиссеры широко улыбались
и слушали стихи Вознесенского
про самоубийство Мэрлин Монро.

(О, как она им нравилась!)
И «сам» широко улыбался —
эта красавица, полная сил и здоровья,
что она знала про самоубийство?
Про самоубийство и героин?
(О, как она ему нравилась!)
«На обороте у мертвой Мэрлин...»
Она победно вышла из тира.
И жались к стенке,
стараясь не глядеть на нее,
жалкие соперницы.
«Звезда абитуриентуры» —
так ее назовут
после трех лет ее поражений,
когда она узнает,
каково вглядываться
в тускло напечатанные списки принятых,
а потом кружить вокруг канцелярии
со сводящей с ума надеждой —
а вдруг пропустили?
А вдруг пропустили ее фамилию?
Такую смешную фамилию...
И режиссер, который набирал этот курс,
которому она так нравилась тогда в тире
во время отстрела юных дарований,
не объяснит ей,
что такое звонки по телефону,
сводящие с ума звонки по телефону —
звонки знакомых и родственников,
звонки сподвижников и сподвижниц по театру,
звонки из вышестоящих организаций,
звонки из нижестоящих организаций,
звонки с просьбой об элементарной человечности,
звонки с угрозами и истериками,
звонки с проклятьями и воплями...
И он положит ее смешную фамилию
на алтарь этих звонков,